

## АНТИУТОПИЯ

### (о невозможности земного счастья)

*«Итак не будем спать, как и прочие,*

*но будем бодрствовать и трезвиться».*

*Фес. 1. 5,6.*

«Мгновение, продлись!» — роковая фраза Фауста,— то последнее, что он успел произнести, прежде чем душа его отправилась в ад.

Доктор Фауст — отчаявшийся герой: тщетно пытаюсь найти полное удовлетворение в **в этой жизни**, он наконец обращается за помощью к нечистой силе,— и вот, когда вдруг так неожиданно настает счастливый миг его судьбы — он произносит эту роковую фразу. Счастье длилось всего лишь миг, а ним — вечные муки.

Жизнь Фауста стала трагедией — в назидание, наверное, всем остальным. Не так ли все происходит с людьми? Когда, казалось бы, человечество стоит уже на пороге земного рая, вдруг на него обрушиваются всевозможные бедствия и несчастья — и тем неожиданнее, чем менее всего о них думают. То же самое происходит и с каждым из нас в отдельности. Иногда мы находимся в состоянии невероятного упоения, и тем острее переживаем внезапное омрачение или невесть откуда свалившееся на нас несчастье. Многие считают подобные наваждения случайными, хотя те, кто умнее, давно уже заметили подобную закономерность — счастливые периоды в силу какой-то неумолимой логики заканчиваются бедами и огорчениями. Поэтому умные понимают, что окончательного счастья добиться невозможно, а потому в счастливые мгновения всегда ждут бед и огорчений — как законных попутчиков всякого земного счастья. Но

даже и они, умные, поняв эту печальную закономерность, все же так часто стремятся к устранению предполагаемых «источников проблем». Бывает так, что, устранив один такой «источник», они вначале считают это чуть ли не последним своим свершением, после которого должно вроде начаться упоение жизнью, когда уже возникающие текущие трудности будут лишь пикантным дополнением к ней. В такие моменты они даже думают: «Не странно ли, что теперь все великие огорчения, все то, что так сильно отравляло жизнь,— все это позади?» Им это действительно странно, и потому через какое-то время они к ужасу своему осознают, что та отравка, которую они так настойчиво стремились исключить из своего бытия, все же остается, и великие огорчения продолжают периодически сотрясать их жизнь. Но, как ни странно, они по-прежнему стремятся мобилизовать все усилия на устранение «источников» своих земных проблем.

Итак, земное счастье скоротечно. Но самое поразительное заключается в том, что беда как нарочно приходит именно тогда, когда мы пытаемся остановить наш счастливый миг, когда упиваемся нахлынувшей на нас радостью и восклицаем про себя: «Ну вот, наконец-то,— разве можно ожидать чего-то большего? Мгновение, продлись!» И вот тут-то жизнь с ее неумолимой мрачной логикой разрушает наше призрачное счастье, подобно тому, как волна смывает песчаный замок. Попытка остановиться в **этом мире** कराается разочарованием.

Но есть ли во всем этом действительно какая-то закономерность? Доступна ли нашему разумению эта мрачная логика жизни, не скрыта ли в ней тайна, достойная истинной мудрости?

### 1

Доктор Фрейд полагал, что сновидения — это жизнь человека во время сна. Главная задача сновидения, по его мнению, заключается в исполнении наших желаний: желания, не исполненные наяву, стремятся к своему исполнению во сне, вызывая при этом причудливые и несуразные картины сновидений.

Тезис Фрейда о связи сновидения с нашими желаниями в каком-то смысле довольно убедителен. Действительно, когда мы во время сна испытываем сильную жажду, нам постоянно снится, как мы ищем воду и пьем ее. Многим из нас это, наверное, хорошо знакомо. Или, когда кто-либо вынужден рано идти на работу и боится в связи с этим

проспать, под утро видит во сне, что одеваться и готов уже выйти за дверь. Часто бывает, что если нам срочно нужно было позвонить кому-то, и мы этого не сделали или отложили до следующего дня, то вполне вероятно, что свое намерение попытаемся «осуществить» во время сна. Или, допустим, если кого-то ожидает впереди какое-либо серьезное и очень рискованное дело, то наверняка этот человек предварительно увидит данную ситуацию во сне.

Однако сновидение всегда таит в себе изрядную долю коварства. Фрейд не уделяет должное внимание тому факту, что во сне желание на самом деле никогда не исполняется, точнее — не удовлетворяется. Мы только **стремимся его исполнить**, однако оно всегда остаётся неудовлетворенным. Мало того, что во сне все наши поиски желаемого оборачиваются ничем, они в некоторых случаях доводят нас до полного разочарования — либо в самом сне, либо после пробуждения. Сколько бы мы не «выпили» воды в своем сновидении, наша жажда никак не унимается, и сновидение начинает нас прямо-таки изматывать, когда мы «бегаем» в поисках воды, с жадностью ее «пьем» и никак не можем утолить жажду. Тот, кто во сне стремится «не опоздать» на работу, никак не может быстро одеться: то ему приходится подолгу «застегивать» пуговицы, то он никак не может «найти» свой костюм; но даже если он и «оделся», то что-то постоянно мешает ему «выйти» за дверь. Если во сне мы начинаем «звонить», то никак не можем «набрать» номер телефона,— и это превращается в настоящую муку. Что касается сна о рискованном деле, то сновидение доходит порой до настоящей подлости. Если нам приснилось, будто все обошлось хорошо и даже больше, чем хорошо,— то тем более скверное чувство мы будем испытывать при пробуждении — ведь все это нам еще предстоит совершить наяву, и, таким образом, сновидение сыграло с нами злую шутку — как если бы кто-то дал нам миллион фальшивыми ассигнациями. Но если в сновидении все это было мрачным и ужасным (обычно это к добру — чего многие не знают), то и здесь сновидение все-таки нашло способ нас помучить.

Иногда бывает и так: мы ищем во сне какой-либо желанный объект, и вот, когда, казалось бы, он уже в наших руках, вдруг неожиданно наступает пробуждение. Даже если во сне «цель» оказалось «достигнутой», и все случилось прекрасно, то можно представить, сколь унылым и безотрадным может показаться нам наступивший день.

Таким образом, сон не только не в состоянии утолить наше желание, но способен еще больше распалить его. В сновидениях мы либо бесконечно бегаем за желаемым до самого пробуждения, либо уже начинаем достигать его, и здесь, как и в случае с Фаустом — когда мы уже готовы крикнуть: «Мгновение, продлись!» — вдруг наступает пробуждение.

Не правда ли, что логика сна (если таковая имеется) в определенном смысле совпадает с логикой нашей действительной жизни? Сколько бы человечество ни пыталось достичь земного благоденствия, оно никогда еще не достигало удовлетворения — как в случае со сновидением, в котором мы пытаемся утолить жажду. И когда людям кажется, что они уже на пороге всеобщего счастья, то мгновенно сваливается на них бедствие в виде кровавого революционного раздора или ужасной войны, становясь неким аналогом внезапного пробуждения.

Над проблемой сна ломали головы многие выдающиеся мыслители, пытались провести границу между сном и бодрым состоянием. И часто при этом им приходилось разводиться руками. Поэтому вполне может оказываться, что наша «жизнь во время сна» осуществляется по тем же законам, что и жизнь в том состоянии, которое мы называем бодрым, при этом сновидение — аналог воспринимаемой нами реальности наяву.

## 2

Люди никогда не добьются единодушия в понимании того, что является счастьем, ибо когда о нем заходит речь, каждый непременно начинает перечислять его атрибуты. Однако если попытаться за атрибутами вскрыть суть, то мы обнаружим, что под «счастьем» обычно подразумевают полное осуществление желаний.

Если бы человек воспринимал желание как некую субстанцию, как **желание само по себе**, то он пришел бы к выводу, что осуществление желаний (то есть «счастье») есть одновременно и их **исчезновение**.

Это означало бы, что, достигнув счастья, человеку не оставалось бы ничего иного, кроме как удалиться из эмпирического бытия, поскольку он достиг цели, и больше с этим миром его ничто не связывает. Однако для большинства людей желание ассоциируется с упомянутыми атрибутами — «акциденцией», или **объектами желаний**.

Поэтому движение к счастью они рассматривают исключительно как стремление к обладанию этими объектами. Они не просто стремятся достичь счастья, но собираются непременно

**наслаждаться им**

более или менее продолжительный период. Таким образом, «счастье» для них — это растянутое во времени наслаждение. В силу подобных воззрений «счастье» должно

мыслиться как некое

**конечное состояние,**

как итог человеческих усилий, их желанный плод. Поэтому человек, приближаясь к своему (как ему кажется) «счастью», старается всегда как бы зафиксировать свой счастливый момент, растянуть его во времени как можно дольше. В противном случае — если бы счастье с самого начала предполагалось как нечто кратковременное, оно в этом плане ничем бы не отличалось от временного удовольствия.

Что же получается далее? Любой из нас понимает, что достигнуть здесь, на земле, неизменного состояния невозможно. Овладев своими желанными объектами, человек не останавливается на этом. Если бы он в какой-то момент почувствовал бы себя счастливым, то ему лучше было бы сразу умереть, поскольку за этим призрачным счастьем неминуемо последуют разочарования или бедствия. Ведь человек, оказавшись «счастливым», не истребил в себе источники желаний — он по-прежнему привязан к объектам, а потому, потеряв хотя бы один из них (что практически неизбежно в этом мире), он вновь почувствует себя несчастным. Кроме того, у него может появиться новое желание, и тогда произойдет практически то же самое, что и в первом случае. Ведь мы совершенно не застрахованы ни от первого, ни от второго, и, в принципе, потеря или появление объекта желаний совершенно равнозначны по сути своей, по своему глубинному воздействию на человека.

Главная опасность заключается как раз в том, что человек, по причине своей привязанности к объектам желания, связывает все лучшее именно с **результатом**, а не с **про**

**цессом**

их достижения. Если мы теперь суммируем все отрезки времени, которое человек затратил на достижение своего «счастья», двигаясь от одного результата к другому, то получится одна сплошная цепь неудовлетворенности и скуки, составленная из упомянутых «процессов». И лишь на стыках «звеньев» этой цепи — короткие мгновения призрачного «счастья», которые в ретроспективе кажутся лишь слабыми вкраплениями радости в едином безрадостном «процессе» — таковой обязательно покажется вся жизнь при оглядке назад.

Стало быть, главная причина неизбежного разочарования — установка на «результат» как на конечное состояние, растянутое во времени на всю оставшуюся жизнь, связывание всех надежд именно с этим «результатом». Кому не знакома логика типичного обывателя: «Теперь мне не хватает того-то,— рассуждает он,— вот получу и тогда уже буду непременно счастлив». Но никакого счастья, разумеется, не происходит, ибо получив, человек все же **продолжает жить**, и, таким образом, продолжается сам процесс (по указанным причинам), и каждое новое достижение

никогда не станет конечным, непрерывным состоянием.

Возможно, нечто подобное происходит и у животных. Вполне допустимо, что какой-нибудь хищник, ощущая голод, связывает с жертвой, а точнее — с утолением голода, свое «счастье», целиком сосредоточившись на нем как на «результате». Иными словами, у животного также происходит бесконечная цепь «процессов» с вкраплениями «результатов». Кто наблюдал за жизнью алкоголиков, тот может привести их в качестве аналогичного примера: каждая очередная выпивка — это своеобразное «счастье» для алкоголика, все остальное время — сплошная цепь нудных однообразных «процессов». Но ведь то же самое происходит и с цивилизованными «добропорядочными» людьми, желающими счастливо устроиться в этом мире и постоянно алчущими материальных благ. Для современного обывателя, например, каждая покупка какой-либо вещи — аналог выпивки для алкоголика. Если я не ошибаюсь, психологи усматривают некое сходство между тягой к спиртному и потребительством. Во всяком случае, давно уже было замечено, что последнее может с успехом компенсировать первое. Кроме алкоголиков и обывателей-потребителей можно упомянуть также всех карьеристов, а равным образом и всех так называемых гениев — вечно стремящихся, вечно достигающих и вечно неудовлетворенных.

### 3

Примерно треть своей жизни мы проводим в состоянии сна; для нас это состояние — как некий временный уход от действительности, поскольку сновидение каждый из нас считает состоянием иллюзорным. И тем не менее, когда мы видим сон — именно в это самое время, именно в момент сновидения, мы пребываем в уверенности, что все, происходящее с нами, есть **самая настоящая действительность**. В наших снах мы также радуемся, страдаем, боимся, испытываем жалость или ненависть, стремимся к чему-то — не сомневаясь при этом, что сталкиваемся с подлинной реальностью. Таким образом, **и во сне, и наяву мы пребываем в уверенности, что имеем дело с самой действительностью**.

От обычных «дневных» фантазий наше сновидение как раз и отличается тем, что мы его принимаем за действительность, в то время как фантазии относим к игре собственного воображения. Наши мечты, которыми заполнено сознание любого современного человека, воспринимаются нами также как нечто иллюзорное — до тех пор, пока мы не преступили к их реальному осуществлению.

Теперь, что такое мечта, как не изображение в сознании собственных желаний? Вспомним здесь же о тесной связи желаний и сновидений. В своих снах мы вполне можем осуществлять свои мечты, и при этом нам будет казаться, что она действительно осуществляется, и что все это происходит наяву, в реальности. Допустим, человек очень долго мечтал поселиться в роскошном особняке, без которого он просто не мыслил себя счастливым. И вот во сне он вдруг видит себя обладателем вожаденного особняка, и до тех пор, пока длится этот очаровательный сон, он воспринимает все это как подлинную реальность. Конечно, пробуждение сильно его разочарует (а как может быть иначе?), но в продолжение сна наш мечтатель действительно испытал мимолетное «счастье». С другой стороны, разочарование может постичь человека уже во сне, когда желанный объект рассыплется в прах, однако это несколько не исключает иллюзию реальности.

В сущности же, наши сны — это те же мечты, только воспринятые не как фантазии, а как действительность.

Таким образом, когда одержимый мечтой человек приступает к ее воплощению, реализации, **он уже не воспринимает данный процесс как игру воображения.** И здесь нет никакой принципиальной разницы, происходит ли все это во время сна или наяву. И если при этом мечта не исчезает, если образы желаний всегда остаются в человеческом сознании, то это, как мы понимаем, свидетельствует о неисполнимости желаний, и человек, по существу,

**живет своими фантазиями, своим воображением,**

хотя все, происходящее с ним,

**полагает реальностью.**

Во сне именно так и происходит: человек «стремится» осуществить мечту, однако в силу указанного коварства сновидения реального осуществления так и не происходит. Мечта в любом случае довлеет над ним.

Из всего вышесказанного можно вывести следующее: **постоянное наличие мечты свидетельствует о неосуществимости желаемого.**

И во сне, и наяву исходный пункт и результат одни и те же — наличие мечты и ее неисчерпаемость. Поэтому нет принципиальной разницы между сновидением и бодрым состоянием, если наличествует постоянное сохранение мечты. Активность мало вносит изменений — хотя бы потому, что во сне мы можем «действовать» также весьма активно (и с тем же результатом), при этом, подчеркну еще раз,

**воспринимая все за подлинную реальность.**

Ведь целью, главным критерием всегда будет

**душевное состояние,**

— и тогда какая разница — спит человек или бодрствует, если душевное состояние и в

том, и в другом случае практически одно и то же?

### 4

Людам, особенно современным, свойственно распалать собственное воображение, усиливая мечту до поистине безграничных размеров. Создается весьма примечательная тенденция: **мечта постоянно обгоняет свое действительное воплощение**. В итоге получается своеобразная погоня за мечтой. Это свойственно почти каждому современному человеку — начиная с посредственных обывателей и заканчивая теми, кого по праву называют гениями. И именно это объединяет и тех, и других, несмотря на тот антагонизм, который довольно часто возникает между гениями и «толпой». Современный обыватель, как мы знаем, все свое счастье связывает с земным планом, иногда довольно подробно разрабатывая перспективу собственного становления. Каждый новый успех рассматривается им как очередной этап восхождения к «счастью». Стоит ли говорить, что в процессе прохождения этих «этапов» в его сознании постоянно витает образ конечного желания, который прямо ассоциируется с «счастьем». Иначе говоря, обыватель живет и действует под всецелым влиянием мечты о «счастливом будущем».

Но и гений также всецело устремлен на этот мир. Творческая страсть гения, несмотря на все его апелляции к духовности, подпитывается мечтами о земной славе, о земном могуществе, о триумфе,— которые, судя по всему, являются для него практически единственными атрибутами счастья. Именно к этому счастливому состоянию и направлены все творческие порывы гения. Поэзия, музыка, живопись, наука — все это лишь **средство** осуществления мечты. Гений, надо сказать, тем и отличается от всякой творческой посредственности, что рассматривает свое творчество не как приятное и увлекательное времяпрепровождение, не как способ зарабатывания денег, а как тернистый и опасный путь к своей мечте. Глупо даже предположить, будто в творческом акте гений находит какое-либо наслаждение — в противном случае все гениальные личности были бы веселыми оптимистами. В жизни же все происходит наоборот, а веселыми оптимистами бывают только бездарности. Так называемая радость творчества, честно говоря, известна в меньшей степени, да и то в кругу каких-нибудь посредственностей. Более всего известны **муки**

**творчества.**

И действительно, любой истинный гений больше страдает, чем радуется. Каждое новое творение для него — это всего лишь очередной этап продвижения к мечте. И именно она — мечта — всецело занимает его воображение. Скажу больше: любой гениальный творец всегда замысливает в несколько раз больше того, что он способен осуществить в действительности. Гений мечтает больше, чем создает. Достоевский где-то в своих «Униженных и оскорбленных» писал (от лица героя), что ему свойственно часто мечтать



о своих будущих произведениях, и это, в сущности, является более упоительным занятием, чем реальное осуществление творческих замыслов, которое всегда несколько запаздывает в сравнении с мечтой. Это, наверное, как-то характеризует состояние души любого неординарного творца.

Таким образом, мечта и в-случае с гением всегда обгоняет действительность, и это — закон. Если какой-нибудь художник написал, скажем, двадцать полотен, то это значит, что в воображении их было у него не менее сотни. Пока он пишет одну картину, воображение дает ему еще три. И я уверен: любой гений даже перед смертью продолжает лелеять мечту, а потому умирает он чаще всего с тяжелым вздохом. К гениям, подчеркиваю, это относится больше всего, ибо их мечтательность во много раз превосходит мечтательность посредственностей.

Обычно какой-нибудь поэт-любитель пишет стихи ради удовольствия, ни на что при этом не претендуя. Мало того, он склонен даже никому не показывать своих стихов, а потому в состоянии наслаждаться **самим процессом** стихотворчества,— в то время как гениальный поэт (или претендующий на гениальность) будет всегда ориентироваться на результат.

Шопенгауэр, если я не ошибаюсь, полагал, что взрослый человек навсегда утрачивает детскую непосредственность и жизнерадостность. Ему, выдающемуся философу, наделенному изрядной долей тщеславия, трудно отказать в проникательности по данному вопросу. Дети, в отличие от взрослых, более склонны (выражаясь языком Вед) к незаинтересованной деятельности, когда наслаждение испытывается от самого процесса — при минимальной устремленности на результат. Взрослый же человек чаще всего стремится во всем видеть выгоду (особенно это характерно для европейцев), а потому воспринимает процесс как необходимую прелюдию к результату. Это же характеризует и гения, и пожалуй, более чем всех остальных. Гений не знает творческой незаинтересованности — даже в том случае, когда ему будет казаться, будто он просто не может жить без своего дела. Фактически же гений не может жить без устремленности к конечному самораскрытию, к самоутверждению — что и является, собственно, вождельной целью всех его творческих «процессов». Убрать этот конечный результат — и творчество для гения потеряет всякий смысл.

Часто случается, что ребенок, увлеченный каким-нибудь занятием, например, рисованием,— стремится к тому, чтобы вокруг никогда не было свидетелей результатов его творчества. Это как в случае с поэтом-любителем. Но гений же в любом случае так или иначе будет работать на показ. Самое ужасное для него — это образ критика.

Этот критик вечно мерещится ему как будущий свидетель и оценщик его творчества, и во время творческого процесса будто бы пересаживается в душу самого гения, постоянно портя ему настроение и вызывая те самые «муки творчества». Гений всегда смотрит на свои творения глазами потенциальных оценщиков. Поэтому он творит под неустанным контролем — вечно понукаемый, вечно критикуемый. Даже «творящие легко» — как Моцарт и Пушкин, не были избавлены от этого. И причина тому — погоня за мечтой, установка на «результат», а иначе говоря — поиск конечного, «счастливого» состояния.

### 5

В свое время Герцен, разочаровавшийся в прогрессе, устами своих героев восклицал: «Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: morituri te salutant, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти все будет прекрасно на земле». Идея прогресса в своем буквальном истолковании действительно слишком наивна. Герцен осуждает ее именно в том плане, что любое настоящее поколение по сути дела лишается смысла собственной деятельности, являясь своего рода **средством** для создания счастья своим очень далеким и неизвестным потомкам. На самом же деле, как мне представляется, идея прогресса лишь

#### **отражает**

настрой души и мироощущение современного человека. Мы слишком слабо пытаемся выявить соотношение между общим и частным, а между тем и то, и другое всегда

#### **принципиально тождественны:**

общее свидетельствует о частном, в то время как последнее проецируется на первое. Тут всегда прослеживается эта устойчивая закономерность: характерное для общего — характерно и для частного, и наоборот. Поэтому если

#### **человечество**

стремится достичь земного счастья, то это означает, что и каждый

#### **отдельный человек**

данного общества стремится в своей жизни к тому же. Иными словами, мы сталкиваемся с законом соотношения частного и общего. Если, например, в обществе господствуют эсхатологические идеи — о всеобщем конце и всеобщем спасении, то это, в свою очередь, означает (точнее — свидетельствует), что и отдельно взятый человек в данном случае преследует аналогичную цель, то есть стремится к личному спасению. Соответственно, если в каком-то обществе господствует идея постоянных циклических процессов рождения и крушения миров, то тогда на личностном плане этому будет соответствовать идея многократного рождения и смерти (как это представлено в ранних Ведах). Не может быть так, чтобы на социальном плане господствовала идея материального прогресса, а на индивидуальном уровне каждый стремился бы к личному спасению, — и наоборот.

Поэтому говорить, что идея прогресса несостоятельна — как это делал Герцен, значит рассматривать ее саму по себе, трактуя буквально. На самом же деле эта идея есть обобщенное свидетельство душевного состояния индивидов: каждый намеревается достичь своего счастья в этом мире, и этому мироощущению соответствует аналогичная по своей сути социальная доктрина, где индивид просто как бы замещен **человеческим родом**. Эта доктрина — лишь проекция индивидуальных устремлений, во всяком случае она никогда не стала бы господствующей, если бы не звучала в унисон с мироощущением большинства индивидов.

Итак, частное и общее могут прекрасно свидетельствовать друг о друге. Поэтому все, происходящее на индивидуальном, личностном плане, может нам многое сказать о плане родовом. Если мы хотим узнать, осуществимы ли идеалы прогресса, нам не нужно будет прибегать к каким-либо рассуждениям. Достаточно будет посмотреть на отдельных искателей счастья, на их жизнь — и все станет ясным. Наиболее красноречивым свидетельством будет жизнь самих апологетов всевозможных земных утопий. Последние в своей личной жизни были не столь уж счастливы — то же самое ожидает и все человечество, решившее следовать дорогой прогресса. На деле человеческий род просто повторит пример своих вдохновителей-утопистов, только, конечно, в родовом масштабе.

## 6

Идея прогресса с самого начала была мечтой. Явственные предпосылки этой идеи можно обнаружить уже в средневековье: Пьер Абеляр в каком-то смысле предвосхищает гуманистов Возрождения, а Роджер Бэкон — естествоиспытателей Нового Времени. Позднее гуманисты четко продекларируют, что человек рожден для счастья (разумеется, земного счастья — так называемый эвдемонизм); Френсис Бэкон в XVII столетии ориентирует умы на построение идеального общества (его небезызвестная «Новая Атлантида» — своеобразный идеал); и начиная примерно с времен Просвещения западное общество живет под непосредственным воздействием мечты. И надо заметить, что постоянное усиление этой мечты на протяжении нескольких столетий свидетельствует об усилении неудовлетворенности. Вообще, на Западе с определенных пор вошло в привычку изображать радужные перспективы человеческого развития. Мечтают все — от ученых до писателей-фантастов, а порой случается так, что ученые берут на себя роль фантастов, втискивая свои фантазии в рамки «научной объективности». Разбирать подробно все их идейные построения — дело бессмысленное и ненужное, ибо нормальный человек в эти фантазии не верит.

Достаточно зафиксировать лишь то, что все эти фантастические проекты — научные, философские и литературные, — есть чистейшей воды мечта, которая свидетельствует сама за себя.

Последнее время у нас стали реанимировать идеи так называемого русского космизма, видя в нем, очевидно, достойную замену коммунистическим иллюзиям и позитивистской пошлости. При этом часто делается акцент на «религиозном факторе», который якобы «одухотворяет» мироустроительную деятельность человека — в отличие от грубого утилитаризма прогресс-системских доктрин. Философия русского космизма, надо сказать, насквозь пронизана изящной риторикой культурно-рафинированного богоискательства, а доводы и аргументация — довольно изощренны и коварны. Но и здесь главное — мечта. По сути же своей русский космизм (в его «религиозном» варианте) существенно отличается от православной доктрины. Еще К.Леонтьев указал (по поводу Достоевского) на то, что христианство обещает не благоденствие земное, а страшный суд. Ведь для подлинного перерождения человечества необходим один важный фактор, а именно — **смерть**. Но смерть как раз и является тем, чего стремятся избежать наши «космисты» и всякие утописты вообще. «Новое общество» и «новое человечество» для них должно не **родиться**, а создаться, **сконструироваться**

из имеющегося «материала». Произвести скачек в желанное «царство свободы» (по выражению Маркса) без подлинного перерождения (немыслимого без предварительной смерти), — есть самая наивная утопия. Человечество так или иначе останется в параметрах эмпирии, где нет ничего постоянного, где все изменчиво и иллюзорно. И вождевленное «царство свободы» будет лишь обыкновенным светлым мгновением (если оно вообще состоится), после которого вполне закономерно наступит разочарование.

Если люди боятся подлинного перерождения, то это свидетельствует о том, что они предпочитают находиться в состоянии сна и бегать за своим призрачным счастьем, подобно тому, как спящий по утрам не желает просыпаться из-за своей лени. Он желает пребывать в своих снах, но наступающий день вынудит его проснуться, и если сновидения давали ему свои впечатляющие образы, если во сне он рвался осуществить мечту, то новый день для него начнется с разочарования. И наше прогрессивное человечество, пытающееся воплотить свои земные утопии, рано или поздно будет разбужено наступлением нового космического дня, и нет сомнений в том, что пробуждение это станет для него тяжелым. Таким пробуждением будет, безусловно, одно — **МИРОВАЯ КАТАСТРОФА**.

Любое бедствие, сваливающееся на человечество — будь то война или революция, есть расплата за бесплодные мечтания и намерения эти мечты осуществить. Люди воспринимают эти бедствия с ужасом, называя их, по наивности своей,— злом, в то время как бесплодные мечтания свои — добром. Но дело в том, что бедствия (как бы ужасно это не звучало) подобны мгновениям пробуждения. Люди боятся катастроф, ибо они несут страдания и разрушают их планы. Однако мы забываем, что все человеческие планы иллюзорны, а потому всегда подвержены разрушению **в силу своей природы;**

вн  
езапное бедствие есть лишь осуществление данной логики. Скажу больше: человечество стали постигать бедствия с той поры, **когда оно выработало страсть к мечте.**

У любой катастрофы, несмотря на все её ужасы, есть одно величайшее положительное качество —

**способность отрезвлять.**

Любое бедствие несет в себе отрезвляющий момент. Известно ведь, что во время войны человек приобретает способность ценить любое мгновение своей жизни, и только в мирное время он будет связывать все хорошее с какими-то перспективами. И если что и возобновляет войны, так это постоянная склонность людей вдохновляться мечтой о счастье.

Пожалуй, всякое подлинное пробуждение начинается с чувства полной безнадежности. Когда человек еще надеется, когда пытается использовать какой-либо шанс догнать собственную мечту, он продолжает оставаться в плену иллюзий. Иногда попытка использовать последнее средство может стать откровенным безумством. Так что безнадежность — еще не самое плохое.

Безнадежность нужно понимать в смысле уничтожения всякой мечты о возможности земного счастья. Обычно это чувство возникает в результате ряда ужасных страданий, насылаемых нам, как утверждал Фома Кемпийский, ради нашего спасения. Поэтому человек, познавший безнадежность, лучше пошлого оптимиста, которому, **еще**

**предстоит**

вы

страдать свое просветление. Именно тот, кто истребил в своем сознании всякие радужные перспективы, кто уже не знает никаких «этапов» и «процессов», кто ощущает каждый миг своей жизни — близок к совершенству. Поскольку он не строит никаких планов на будущее, а ценит каждое мгновение настоящего, ощущая свое «счастье» непосредственно и теперь, он практически выходит за пределы времени, а стало быть и за пределы пространства.

Поэтому, если говорить о грядущем совершенстве человечества, то таковое должно начаться непременно с всеобщего отчаяния. Это последнее, в свою очередь, будет

вызвано неисчислимыми бедствиями, которые выпадут на долю рода людского. Все предыдущие войны и прочие бедствия, несмотря на их чудовищный размах, все же были не столь ужасны, чтобы переродить человечество, ибо по окончании каждой войны люди вновь принималась мечтать о счастливой жизни под так называемым «мирным небом» (причем, считая минувшую войну последней). Поэтому если мы действительно стоим на заре своего духовного перерождения, то нас должны ожидать бедствия столь ужасные и столь всеохватывающие, что будут в состоянии до основания испепелить все человеческие мечты. **Именно с всеобщего крушения мира и может начаться новая заря человечества.**

### 8

В сущности, все революционеры были правы, начиная созидание «нового мира» с глобального разрушения старого общества, с крови и насилия — ибо без бедствий и страданий никакого перерождения не происходит. Однако это была лишь проекция глобальной метафизической схемы на довольно тесную эмпирическую плоскость. Ложь и ужас всех революций заключались как раз в том, что они внедряли в сознание людей мечты о достижении всеобщего счастья здесь, на земле,— тем самым **подготавливая на будущее бедствия еще более ужасные.**

Как мы понимаем, подлинное избавление могла бы произвести революция тотальная — без всяких видов на земное благоденствие. Однако этого произойти не может, ибо каждый революционер — мечтатель и романтик, а потому он всегда будет ставить вопрос о земном благоденствии.

Любой революционер считает себя преобразователем мира; но даже если бы он чувствовал себя только его разрушителем, ничего бы принципиально не изменилось, поскольку акт разрушения предполагает следующий за ним акт созидания. Тот, кто устремлен на этот мир, мыслит мерками этого мира, даже желая при этом ему разрушения. Он разрушает мир, поскольку тот его не устраивает, а это значит, что в его сознании присутствует образ другого мира — образ чувственный и вполне выразимый в эмпирических параметрах. Человек отрицает одни объекты ради утверждения других; если бы у него вообще исчезли желанья, у него одновременно исчезли бы в сознании чувственные образы их объектов, а значит, ему нечего было бы отрицать. В таком состоянии не было бы ни отрицания, ни утверждения, а только отрешенность. Однако отрицающий всегда предлагает взамен нечто конкретно представимое, и это «нечто представимое» **становится новой мечтой.** Мысль, идя от отрицания к утверждению, заменяет одни образы желаний на другие, а потому всегда неизменно сохраняется мечта, и вместе с ней всякие надежды на земное благополучие.

В наше время находится немало желающих спасти человечество — от гуманистов до традиционалистов. Несмотря на все разногласия первых и вторых, их объединяет то, что все они рисуют **конкретные картины** некоего «идеального общества», где, в свою очередь, представлены вполне конкретные (чувственные) образы вполне конкретных желаний. Там, где наличествует мечта о земном счастье, там неизбежно присутствует его чувственный образ. Если человек в состоянии обрисовать вам, чего он хочет, то это свидетельствует о наличии у него мечты о земном счастье. И именно там, где человек отходит от бессмысленной погони за мечтой, где он видит тщетность какого-либо земного благоденствия, у него исчезают конкретные, чувственные образы желаний. Поэтому любая религия, ставящая вопрос о личном спасении, о жизни вечной, не даст вам конкретных образов этого состояния по аналогии с эмпирической данностью. Это будет всегда нечто трудновообразимое, нечто невероятно фантастическое, которое нельзя сопоставить с этим миром. Поэтому образ Царства Небесного не представим в виде профанических чувственных объектов, ибо в противном случае он превратился бы в мечту, и тогда люди спроецировали бы на него свои земные желания. Но именно невозможность конкретно и наглядно вообразить это высшее состояние есть условие достижения совершенства.

Из всего этого следует, что любой истинный антиутопист не станет изображать (в качестве цели) конкретные картины какого-либо идеального состояния, а тем более общественного устройства. Русские космисты стремились в общих чертах дать «чувственный портрет» так называемого «истинно-христианского» общества, к построению которого они настойчиво призывали. На самом деле это также откровенная земная утопия, в принципе мало чем отличающаяся от фантазий Кампанеллы. Это далеко не единственный пример. На мой взгляд, несостоятельность германского национал-социализма заключалась в ориентации на земной план,— в результате все обращения к традиции, к древности оказались всего лишь мечтой, на деле обернувшейся дешевым фарсом. В такой же дешевый фарс вылились империалистские притязания Эволы, учение которого тем только и отличалось от гуманистических фантазий, что страстно изобличало всякий гуманизм. На деле же Эвола — типичный мечтатель-романтик.

Вообще, глупо восстанавливать (или создавать) так называемое традиционное общество, исходя из него самого. В данном случае будет опять-таки попытка осуществить мечту, где «традиционное общество» станет лишь разновидностью земной утопии.

Многие русские националисты заражены сегодня идеей возрождения России — в ее дореволюционном виде (с некоторыми поправками, конечно, на текущий момент). Это тоже утопизм, начинающийся, как обыкновенно, с мечты. Националисты забывают, что

предки создавали свою Святую Русь без всяких проектов и планов, а только лишь следуя определенной идее и ориентируясь при этом отнюдь не на землю. Именно так возникает любое традиционное общество — в состоянии религиозного рвения его создателей, без всякого намерения удобно и рационально обустроиться в этом мире. Никто в тот момент и не думает о том, что он, оказываясь, создает «традиционное общество». Традиция изливается прямо из душ людских, и общество, создаваемое ими, вырастает как живой организм. Для них оно — символ духовных устремлений, отражение и проекция высших трансцендентальных сфер, но никак не самоцель. Из истории известно, что прожектерство начиналось как раз с момента разложения традиционного общества. В Западной Европе таким моментом было Возрождение, которое по большому недоразумению считают зарей европейского развития, в то время как это была не утренняя, **а вечерняя заря**. «Темное средневековье» как раз и было днем, точнее — проблеском дня! Для России сумерки сгустились, как мы понимаем, с XVIII столетия.

Я недаром пытаюсь вызвать здесь ассоциации с суточным временем. «Сумерки» или «день» надо здесь понимать не как аллегории, но вполне буквально. Ибо как только люди пускаются в мечтания о земном счастье, это говорит только о том, что для них наступил период онтологического сна, а в сон, как известно, погружаются именно в ночное время. И наоборот, в эпоху «религиозного засилия» люди пребывают в состоянии трезвения, а значит этот период можно уверенно назвать дневным.

## 9

Мне могут возразить, сославшись на то, что все реальные современные достижения как нельзя лучше должны свидетельствовать о нашем «бодром» состоянии. Ведь, казалось бы, современная техника и наука вообще отражают ясность нашего разума, без чего никаких достижений просто бы не могло быть.

Быть может, я выскажу сейчас безумную мысль, но я утверждаю, что так называемый человеческий разум **постоянно демонстрирует свою невозможность чего-либо достичь**. Начнем с того, что наука так ничего и не объяснила — мы знаем только теории и гипотезы,— при этом каждая новая теория опровергает предыдущую, и этому процессу постоянного переосмысления не видно конца. В свое время Гегель считал, что дал миру окончательную истину, однако после его смерти появилось множество систем и учений, каждое из которых также претендует на полную истинность. Не происходит ли чего-то подобного и в области технических достижений: какого бы совершенства не достигала техника, все это в итоге оказывается



неудовлетворительным, и человек не в состоянии довольствоваться полученным результатом. Этому процессу также не видно конца,— можно ли в таком случае говорить о «достижении»? Что, собственно, достигнуто — очередная модель радиоприемника, которая через десять лет окажется никому не нужной; новая конструкция авиалайнера, на которую через двадцать лет будут смотреть с презрением; новая технология, которая через тридцать лет будет ассоциироваться с человеческой глупостью? Какие могут быть «достижения», когда потомки глядят на своих предков как на недоумков? Но ведь и их потомки, в свою очередь, дадут им весьма нелестную характеристику. Значит, все то, что мы сегодня называем «достижением», с позиции перспективы так называемого развития есть, наоборот, **отсталость**.

И то же самое относится ко всем грядущим изобретениям. Поэтому все достигнутое уже сразу несет в себе образ несовершенства, поскольку сам процесс «развития» устремлен в какую-то бесконечность, когда исключается всякий предельный высший уровень, способный стать образцом совершенства.

Кроме того, почему мы решили, что наши материальные достижения не есть игра нашего воображения? Ведь все, что достигнуто, есть результат некоего усилия воли. Мы желаем, а потому и достигаем. Но ведь и во сне наши желания порождают соответствующие образы — и тоже не без определенного усилия нашей воли (поскольку именно усилием воли мы заставляем нашу психику работать в определенном направлении,— в частности, фактически принуждая ее создавать во сне те или иные «желанные» образы). Так и здесь, наяву, человек концентрирует волю ради «материализации» образов желаемого. Не странно ли, что науке действительно так много удается: если люди мечтали летать по воздуху, они это осуществили, если хотели прорваться в космос, они это сделали и т. д. И для каждого случая вдруг нашлась соответствующая теория, соответствующие формулы и т. п. И я уверяю, что если завтра люди очень захотят превращать воду в вино, они этого обязательно добьются, и какой-нибудь ученый вдруг перед этим откроет какие-нибудь особые свойства воды, благодаря чему (оказывается!) появится возможность произвести желаемый процесс. Однако есть во всем этом один весьма существенный момент — постоянное наличие побочного, нежелательного эффекта, который содержит в себе любое такое достижение. Человек хотел летать по воздуху и в итоге изобрел самолет; в его мечтах был чистый, незамутненный идеал, в то время как действительность оказалась не столь уж идеальной — мог ли человек вообразить, что вожденное средство передвижения по воздуху станет прозаичным и в некоторых отношениях опасным механизмом, отравляющий воздух выхлопными газами? Но ведь и в наших снах столь часто случается то же. Кто-то мечтает о своей прекрасной даме, и вот он видит ее во сне — только не столь уж прекрасную, а совершенно некрасивую или же грубую и пошлую. Усилие воли побуждает психику к тому, чтобы та дала желаемый образ, и этот образ действительно предстает, но неся на себе печать искажения. И то же самое происходит в действительности. В свое время просветители воспевали машину словно прекрасную даму, и вот эта «прекрасная дама» вошла в нашу жизнь, но только от нее пахнуло не чудным благоуханием, а отвратительным смрадом и копотью,— чего просветители,

конечно же, и не могли себе представить. И даже вино, которое люди попытались бы сделать из воды, наверняка обладало бы отвратительным привкусом — вместо благородного букета.

Итак, нет сомнений, что все современные достижения — игра нашего воображения. Лучшее подтверждение тому — потеря чувства реальности, — то состояние современного человека, которое постоянно усиливается по мере следования прогрессу.

### 10

Когда Фридрих Ницше публиковал свою первую книгу, он мечтал о широком признании у своих благодарных читателей. Но, к большому разочарованию юного гения, у этой книги вообще не нашлось читателей. Можно представить, во что обошлись этому философу его честолюбивые помыслы. На его месте мудрее было бы ожидать дурного или вообще ничего не ожидать. Именно постоянные мечтания превратили жизнь Ницше в подлинную трагедию. Этот закон универсален — человечество своими радужными мечтаниями только навлечет на себя беду. И ему, человечеству, будет во много раз лучше ожидать дурного или вообще ничего. Нежелание принять эту правду свидетельствует о большой неразумности, и всякие эвдемонистические теории совершенно глупы. Гуманисты видят земную жизнь как подготовку к земному счастью, однако истина заключается в том, что жизнь дана **для подготовки к смерти**. Просто умереть — бессмысленно. К смерти нужно готовиться так же, как солдат готовит себя к битве, как музыкант готовит себя к исполнению, как будущий врач готовит себя к своей профессии. Земная жизнь — тренировка перед выходом в мир иной, и кто не понимает этого, тот может остаться здесь навсегда и пребывать в состоянии сна — бегая за мечтой и осуществляя свое призрачное земное счастье, пока, наконец, день не застанет его «как тать».



Наша земная жизнь — это участие в ритуале, это символическое священное действие. Смерть — переход в иную жизнь, необходимый рубеж перед достижением чего-то более высокого. А потому полезнее и правильнее думать не о земном счастье — иллюзорном и скоротечном, а **думать о смерти, думать об ужасах, думать о бедствиях,** ибо только образы смерти, бед и мучений способны вытравить из нашего сознания бесплодную коварную мечту. Кто постоянно ожидает от этого мира только лишь дурного, способен избавиться от тревог и волнений. Это утверждение кажется нелепым, а тем не менее в тревоге и волнении пребывают только мечтатели, только те, кто вечно ожидают лучшего, а потому вечно тревожатся о том, чтобы это лучшее не обошло их стороной. Однако если бы они всегда ожидали только дурного, им не о чем было бы волноваться. Именно поэтому древнее наставление арийской мудрости гласит: «Бойся славы как отравы, и жди презрения как амриты». И почти так же христианская мудрость в лице Святых Отцов наставляет: «И пусть предметом постоянных размышлений твоих будет смерть». Итак, не ожидать здесь ничего лучшего — вот основная заповедь подлинной мудрости, и это именно то, чего не может постичь жалкий гуманизм с его обещаниями земного благоденствия. «При наступлении каждого дня думай, что этот день — последний в твоей жизни» — так наставляет Антоний Великий. Какая глубина в этой фразе, и каким примитивным на этом фоне кажется пошлый оптимизм современной цивилизации!

Наверное, мы подходим к тому рубежу, когда должно произойти нечто действительно невероятно ужасное. Мы ощущаем приближение СТРАШНОГО СУДА, и поистине смешными кажутся рассуждения всяких гуманистов о мире и благоденствии. Но, как было сказано апостолом: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (Фес 1, 5, 3).

Новосибирск. Апрель, 1994.